



**А. СААКЯНЦ**

## **ЧЕЛОВЕК ЩЕДРОГО СЕРДЦА**

Это было 26 декабря 1962 года в Центральном Доме литераторов, на вечере, посвященном 70-летию со дня рождения Марины Цветаевой. После сдержанного, строгого выступления И. Эренбурга, самого старшего из участников этого вечера, на трибуну взлетел П. Г. Антокольский. Голос его, низкий и глухой, но сильный, гремел в зале, переносил воображение молодых в невозвратные времена романтики первых лет революции, а старших — въяве возвращая в эти «баснословные» времена. Антокольский говорил так, словно только вчера покинул гостеприимный (несмотря на разруху!) дом Цветаевой в бывшем Борисоглебском переулке, будто вчера лишь они о чем-то не договорили с нею, не доспорили, — и перед нами, сидящими в зале, вживе вставала — эпоха. Ибо Павел Антокольский, как всякий талант, и талант многогранный, олицетворял собою свою эпоху.

Прочитав стихотворение Цветаевой «Руан» («И я вошла,

и я сказала: — Здравствуй!..»), посвященное Жанне д'Арк, он заметил:

— Скажут — вот романтика. Да, наверное, в учебниках и энциклопедиях это так и называется. А я думаю, что это — большее, чем романтика. Это колыбельная прародина искусства, продолжение детской игры, ее второй, более сложный, более ответственный этап... Не все ли равно сказать, что я буду казаком, а ты — разбойником, или я буду Жанной д'Арк, а ты — Карлом Седьмым. И там и тут потребность юной души в творчестве, избыток жизни, ее дополняющий план. Он одинаков и в любви, и в охоте, в каменном веке и сегодня...

Слова были обращены к другому поэту, но в первую очередь — к самому себе. «Продолжение детской игры» — в самом серьезном понимании этого слова: игры на всю жизнь. Игра, включающая в себя создание — раз и навсегда — собственного образа (роли?); создание незыблемых, священных идеалов; создание, наконец, и *внешнего* облика. Разве не то произошло с немецкими романтиками начала прошлого века, и — к чему так далеко ходить? — с Александром Блоком, Владимиром Маяковским, Сергеем Есениным, Анной Ахматовой, Мариной Цветаевой?..

И еще в эту «игру» входило понятие *верности*: себе, своей природе, своему прошлому. Не оттого ли старый поэт Павел Антокольский неизменно оставался для всех, независимо от возраста, «Павликом»? — или «Павлом», но не «Павлом Григорьевичем». Он часто, даря свои книги, надписывал не фамилию, а просто: «П.» Он *ощущал* себя тем пылким, живым «Павликом», юным поэтом и восторженным учеником Вахтангова, каким был в первые годы революции.

Я школьник, не спавший всю ночь  
Над яростным томом Шекспира...

Вспоминается один его телефонный звонок — спустя много лет после описанного вечера. Я напечатала тогда в «Новом мире» первую часть цветаевской «Повести о Сонечке».

— Аня! Почему Марина превратила меня там в гимназиста? Какой я гимназист?! Я тогда был студентом университета! И еще пишет, что гимназическую форму носил... Какая форма?!

— Павел Григорьевич! Ну... Марина Ивановна вас увидела — так восприняла вас... вечным гимназистом... Художественный образ дала...

В трубке ворчание, но не сердитое, скорее понимающее. (По себе знает!) Затем, однако:

— И из Юрия Александровича<sup>1</sup> дурака сделала... он говорит, что ему теперь неудобно по телевизору показаться — все тут же «Сонечку» вспомнят — как он любит себя в зеркале...

Инициатива печатания «Сонечки» принадлежала журналу, а не мне; однако я ощутила себя устыженной под таким натиском защиты Павлом Григорьевичем своего друга. Он *спрашивал* с меня, призывал к ответу так, как если бы я сама написала эту «Повесть». Впрочем, Павел Григорьевич очень тепло относился к этой вещи: она возвращала его в юность, в те времена, когда он и Марина Ивановна писали романтические пьесы в стихах, и, хотя не все были поставлены (у Цветаевой вообще ни одной), ничто не могло притушить жара души молодых поэтов... Он воскресил те незабвенные времена в мемуарном очерке о Цветаевой, а ее дочери, которую узнал в те годы пятишестилетним ребенком, так надписал первый том своего четырехтомника в 1973 году (дарил ей неизменно все свои книги):

«Дорогой Але на память обо всем пережитом за многие, многие годы — вместе и врозь... С верной, вечной любовью».

Романтика и высокий пафос оттенялись в живой, артистичной натуре Павла Григорьевича неким, я бы сказала, антипуризмом «ёры, забияки», который он любил порой шутливо выставить напоказ. «Вам приходилось когда-нибудь толкать мешок с мокрым навозом?» — как-то спросил он, имея в виду человека, который ему не нравился и с которым, по его мнению, бессмысленно и неприятно было иметь дело. «Мешок... с чем?» — растерялась я. «С мокрым навозом. Толкаешь его, толкаешь...» — дальше следовала картина во всей своей осязаемости. Но злобы в этом все-таки не было. Был юмор, пусть ядовитый. Сердась не всерьез, Павел Григорьевич любил употреблять нецензурные словечки, наподобие тех, что в сочинениях Пушкина заменены многоточием. Один раз в телефонном разговоре пригвоздил таким образом какое-то заседание, где, как он считал, занимались пустой болтовней. Слово это он два-три раза (так как я не разобрала поначалу) прогудел в трубку...

Но знала я и совершенно другого Павла Антокольского.

<sup>1</sup> Речь идет о Ю. А. Завадском.

В начале 1963 года мне поручили редактировать его предисловие к пушкинскому «Евгению Онегину». В издательстве «Художественная литература», где я работала, существовала в то время серия «Народная библиотека». Написать предисловие к книге, попавшей в эту серию (а «Евгений Онегин» попал туда, разумеется, в первую очередь), было нелегко: в небольшую статью нужно было вместить все самое важное, притом, конечно, не в сухой, казенной форме, а в живом, увлекательном изложении. Павел Григорьевич написал ее, разумеется, блистательно; однако, прочитав ее, я похолодела: статья кончилась, а об Онегине в ней не было сказано ни слова.

Необходима была встреча. Я осторожно написала Павлу Григорьевичу, что статья мне очень понравилась, но есть «частные замечания, относящиеся главным образом к ее сокращению». Мне казалось, что эти слова меньше его рассердят, чем если сразу выложить ему правду.

Разговор, которого я, понятно, ожидала с ужасом, получился простым и легким — вполне в духе Павла Григорьевича. С полуслова он понял все; преклоняясь перед образом Татьяны Лариной, — ей, в сущности, и была посвящена статья, — он, естественно, не любил Онегина; но долг был прежде всего, и поэт согласился написать о главном герое пушкинского романа.

Эта непосредственность, демократизм обращения с человеком «на равных», сколь бы молод он ни был, внимательность, расположенность и дружелюбие всегда были свойственны Павлу Григорьевичу. То же было и в течение последующих лет, когда нас связали «цветаевские» дела, в которых он принимал живое, заинтересованное участие. Он помог А. С. Эфрон в ее работе над комментариями к песням Цветаевой, когда мы с нею работали над однотомником «Библиотеки поэта», дав ей для работы редчайшие, нигде не находимые тома мемуаров Казановы; я, в свою очередь, с радостью предоставляла ему материалы, когда он писал предисловие к однотомнику цветаевских пьес, так до сих пор и не вышедшему в издательстве «Искусство». И позднее, когда Антокольский вошел в возобновленную Комиссию по литературному наследию Цветаевой и мне, как секретарю ее, приходилось согласовывать разные вопросы с писателями, в нее входившими, — самым «доступным», к кому было легче обратиться, был Павел Григорьевич. Если он был на даче, его дочь Наталья Павловна передавала ему о звонках, и,

приезжая в Москву, он непременно отыскивал меня и, по обыкновению, был внимателен и точен.

Но вернусь к статье об «Онегине». Через несколько дней, как обещал, Павел Григорьевич принес дописанный вариант. Сумев не нарушить гармонию повествования, он сделал простой и естественный переход: «А что же Онегин?» — и дальше, всего на двух-трех страницах, дал блистательный образ этого «героя века» — образ масштабный, исторический, как он умел это делать. Да и вся статья к пушкинскому творению написана была с точки зрения поэта и историка одновременно. Не могу не привести замечательной цитаты из нее, восхитившей в свое время всю редакцию:

«В личной судьбе Татьяны как бы воплотилась знаменитая триада николаевского царствования: *самодержавие — православие — народность!* Самодержавие — в лице старого, нелюбимого мужа, которому женщина не отдалась, а отдана. Православие — в институте нерасторжимо-го церковного брака. Наконец, та народность, за которую боролся Пушкин, в официальной пропаганде николаевского царствования была попросту заменена смирением и покорностью. И вот Татьяна оказалась такой же рабой феодально-монархического общества, как ее последняя холопка».

Предисловием к «Евгению Онегину» Павел Григорьевич и сам остался доволен: когда вышла книга, он подписал ее:

«Ане

П.

на добрую память об этой, дорогой для меня работе».

Это была первая его подаренная мне книга; позднее со свойственной ему щедростью он подарил еще несколько.

И в других литературно-критических работах Павла Антокольского о русских писателях вновь и вновь восхищал его дар мыслить и писать масштабно, исторически, широко охватывать эпоху и время, современность и прошлое. Так, исторически звучали его статья к гоголевским «Мертвым душам», предисловие к Собранию сочинений В. Брюсова, статьи о Пушкине, Лермонтове... Антокольский при этом как бы включал самого себя в «контекст» истории, он тоже был ее частицей — шла ли речь о нынешнем или прошлом веке — и всегда писал языком образ-

ным и страстным. Не забыть впечатление от последней его работы — статьи к роману Андрея Белого «Петербург», который вышел перед самой его кончиной. Современник Белого, современник первой русской революции (не важно, что он был еще ребенком!) и уже взрослый человек к моменту первого знакомства с романом, Павел Антокольский как бы делает самого себя действующим лицом своей статьи и пишет: «Петербург» оказал решающее влияние на всю мою работу в поэзии, на мое увлечение русской историей...»

Подумать только, что эту *молодую*, жизнеутверждающую, современную и яркую работу писал старый и очень больной человек, чей внешний вид внушал страх за него: впалые щеки, черные мешки под глазами... Но голос оставался по-прежнему громким, только стал чуточку глуше. Стремительно вылетал он из лифта в своем неизменном клетчатом пиджаке, стуча палкой и притворно-свирепо вращая глазами (не выходя из «образа», из *игры*), осведомлялся о том, кто ему был в данный момент нужен. Эту летящей быстротой он напоминал, вероятно, Андрея Белого, так же как своим шумным, сознательно «афишируемым» (тоже «играемым»!) публичным преклонением перед «слабым полом» — бурного и неумного Бальмонта... Круговая порука поэтов всех времен, этих вечных «больших детей»...

\* \* \*

Поэт, прозаик, историк литературы. Человек щедрого сердца, неутомимой отзывчивости и безграничного жизнелюбия. Павел Антокольский. Явление нашей великой культуры.